

ДВА ЭССЕ

ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТЬ

Это если постоять на Малой Морской у дома Чайковского, посчитать окна Пиковой дамы. 66 ровно.

«...И взошел в ярко освещенные сени». Не знаю, не знаю – старуха была скупа – ну канделябр – ну два канделябра. Как бы то ни было, факт, что попадаешь в пространство именно тусклое, даром что электричество – штука безусловно посильней свечного сала. Обступающие поверхности – сверху, снизу, со всех сторон – столь убоги, что не выдерживают человеческого взгляда, и раскрашены так, чтобы не оставалось ни малейшей надежды. А впрочем, надо еще преодолеть турникет. «Легким и твердым шагом Германн прошел мимо его».

Поликлиника, поликлиника. На двух этажах – два коридора насквозь. Дюжины три дверей. Без сменной обуви категорически. Между прочим, забора крови сегодня не будет. Не больно-то и хотелось. Перепишем со стены полезные советы – «Как жить, чтобы не болеть»: «Во-первых, избегайте стрессовых ситуаций, насколько это возможно...»

Это вывешено возле кабинета кишечных инфекций. А Германн, на свою беду, свернул в другое крыло – где принимают терапевты и ревматолог.

Непонятный человек. Или, скажем так, неудобопонятный.

К тому же страшно нетипичный. Потому что чертовски богат. То-то и водится с конногвардейцами, с Нарумовыми да Томскими.

Почти что Монте-Кристо: носит при себе сорок семь тысяч целковых одной бумажкой. Офицеров с такими деньгами в вооруженных силах Николая I было, думаю, очень немного. Полковые командиры, в чинах генеральских, получали от силы тысяч пять в год. А Германн, небось, – инженер-подпоручик. Как Достоевский.

Как Достоевский, который молил опекуна присылать ему хотя бы десять рублей в месяц.

Про штатских вообще не говорю. Сделаться когда-нибудь столоначальником и зашибать тысячу в год было для канцеляриста Гоголя сияющей мечтой.

А тут – полста тысяч! Пушкин сам-то такого нала не держал в руках отродясь.

За границей Герцен, владея почти такой же точно суммой (выгодно вложив ее в разные акции), спокойно содержал семью и революцию. Потому что курс рубля начал падать только в конце 60-х (когда Салтыков и предсказал, что скоро за рубль будут давать не пять франков и не три, а прямо в морду).

Спрашивается, кто мешал г-ну Германну репатриироваться на историческую родину, приобрести недвижимость и надежные ценные бумаги? А не то, наоборот, в России немножко еще послужить (например, на строительстве магистрали Петербург-Москва), выйти в обер-офицеры, дворяне и баре, купить именье и спокойно повышать производительность крепостного труда?

Ведь он же не честолюбец и не утопический филантроп. Деньги для него – воплощают всего лишь личный покой.

«Нет! расчет, умеренность и трудолюбие: вот мои три верные карты, вот что утроит, усмерит мой капитал и доставит мне покой и независимость!»

(Уже бродят в мыслях: и тройка, и семерка; покой, конечно, – туз.)

Желает монетизировать свою будущность. Обустроить единоличный пенсионный фонд. Ради чего расхаживает зимой в одном сюртуке и отказывает себе в бытовых удобствах. Как вульгарный жадина. Торопливый. Неразборчивый. Готовый на подлость. Или на две – например, не только сыграть в карты без риска, но и сделаться ради этого любовником восьмидесятисемилетней старухи. Даже на три: скажем, завести романчик с девицей, чтобы проникнуть в чужой дом, – а в случае чего, ее же и подставить – типа я не вор, а мне назначено свиданье.

То есть знакомую нам всем нормальную хроническую тревогу человека без денег Пушкин передал человеку при деньгах.

И этот-то человек – не в проигрыше, не в несчастье, вообще отнюдь не на краю – валяется в ногах у чужой тетки, произносятся такие слова: умоляю вас чувствами супруги, любовницы, матери, – всем, что ни есть святого в жизни... не только я, но дети мои, внуки и правнуки благословят вашу память и будут ее чтить, как святыню...

Тут подлость, как это с ней бывает, впадает в пошлость. До правнуков, кажется, и Чичиков не доходил. Не говоря уже о том, что его афера несравненно смелей и остроумней. Зато и бизнес-план в абсолютных цифрах скромней.

Хотя и Германн, в сущности, плавает мелко. Подумаешь, 700 процентов. Прибыль, спору нет, знатная. Но как-то не впечатляет. Эффект – это когда не было ни гроша, да вдруг миллион. А сделать из 47 тысяч – 376, – при капитализме (даже слаборазвитом) не такой уж фокус, чтобы из-за этого обнажать ствол, падать в обмороки, смотреть кошмары.

Но фараон или, допустим, штосс – это вам не рулетка. Сорвать банк, поставив какой-нибудь пустяк, – не получится. В трех талиях максимальный для понтёра результат – эти самые 700 процентов, или «сетельва» (sept-et-le-va). Чтобы игра стоила свеч (чтобы, значит, все столпились вокруг стола и затаили дыхание), Пушкин должен был сунуть в карман герою банковский билет на первый куш.

И преплоский оказался бы анекдот, не сойди герой с ума.

Да только он не сходит. Он болен уже на первой странице. В «Пиковой даме», назло модным ужасикам, над которыми повесть смеется, – безумие не подслащено, не подсвечено мелодрамой (почему Петру Чайковскому и пригодился Модест).

Самое важное случается не в игровой зале. И не в спальне графини (где ревматолог). А в темном кабинете (где терапевт): помните, Германн там стоит, прислонясь к холодной печке?

На витой лестнице (ведущей в стоматологию) и в комнате Лизаветы Ивановны (гинекологический кабинет).

Внезапная фраза – переворачивающая сюжет и сердце! – «Германн сел на окошко подле нее и всё рассказал»!

Их разговор при догорающей свече.

И как он поцеловал ее наклоненную голову.

Спустился по витой лестнице, отпер боковую дверь, вышел на поперечную улицу.

Эта дверь теперь укреплена раздвижной стальной решеткой.

А улица – Гороховая. В ста шагах разместилась ЧК. С ненормированным рабочим днем. Городской транспорт практически не действовал. Сотрудники питались и освежались сном прямо в учреждении. Понадобилось, предполагаю, что-то вроде ведомственной гостиницы. Отчего бы и не к покойной Даме пик? Только обои ободрать да мебель изрубить. (Участь ковров гадательна.) Когда благосостояние конторы возросло, передали здание на милицейский баланс. И стала из спецобщезития – спецполиклиника.

В конце одного коридора – старинный столик, на нем зеркало. И на площадке парадной лестницы – тоже зеркало, громадное, в раме со следами позолоты. Такие же следы – на перилах. И на двух-трех красного дерева филенчатых дверях – резьба: длинные стебли, круглые цветы.

Остальная обстановка – без качеств, поэтому не поддается эпитетам. Только страшно не хочется, чтобы вечность выглядела именно так.

Пространством называется то, что окружает тела. Временем – то, как они исчезают.

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПРИВИДЕНИЯ

Вот и с Башмачкиным известное несчастье случилось тоже на Сенной. «Он приблизился к тому месту, где перерезывалась улица бесконечною площадью с едва видными на другой стороне ее домами, которая глядела страшною пустынею. Вдали, Бог знает где, мелькал огонек в какой-то будке, которая казалась стоявшею на краю света». Другой такой петербургской картинке на бегу от центра к окраине больше нигде было увидеть в том столетии: точно – Сенная! Так что будьте осторожны, водители автомашин, миновав эту площадь: в переулках, разбегающихся от Садовой улицы к Фонтанке и Мойке, а также и на набережных каналов – Екатерининского и Крюкова – не вздумайте тормозить, если в зеркале заднего вида вдруг покажется, страшно приблизившись, бледное, как снег, несчастное лицо. Не тормозите и ни в коем случае не приоткрывайте дверцу. Жмите, наоборот, на акселератор, или как он там у вас называется. Потому что в этих местах обитает городское привидение – Маленький Человек. Он попытается, пахнувши на вас могилую, завести такую речь: «А! так вот ты наконец! наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно!» В этом случае улепетывайте, не отвечая, не оглядываясь. И сразу же, сразу же позабудьте то ужасное, что он прокричит вам вслед, эти роковые четыре слога...

Дело в шляпе

На самом-то деле не надобна ему наша верхняя одежда. «Шинель» – это так, для завязки разговора, вроде как пароль. Так уж получилось, что Маленький Человек при первом своем появлении в нашем городе (вернее – в нашем уме) выпал, с позволения сказать, из шинели:

Итак, домой пришел, Евгений

Страхнул шинель...

Дело было 6 ноября (1824) – то есть в такое время года, что и по новому стилю холодно. А вообще-то главный аксессуар Маленького Человека – отнюдь не шинель. Есть в его обиходе предмет гораздо необходимей, отсутствие которого – сигнал бедствия, социального либо стихийного:

...Он не слышал,
 Как подымался жадный вал,
 Ему подошвы подмывая,
 Как дождь ему в лицо хлестал,
 Как ветер, буйно завывая,
 С него и шляпу вдруг сорвал...

Прибавив незабываемое деепричастие «пришел», получаем словесный портрет Маленького Человека, позволяющий опознать его на любой старинной литографии: это пешеход в шляпе. Тот, кто, подобно абсолютному большинству, передвигается по стогнам столицы в любую погоду не иначе как на своих двоих, – но выделяется из толпы головным убором: это не фуражка, тем паче не картуз, и Боже упаси – не шапка.

В шапках щеголял в XIX веке так называемый народ, на первых порах отличаясь от Маленького Человека также и тем, что не возбуждал в литературе сострадания. Когда Александр Башуцкий, первый русский социолог (между прочим, камергер и действительный статский советник) напечатал (1842) очерк, в котором намекнул, что разносить воду по петербургским квартирам – ничуть не легче и не прибыльней, чем, например,

переписывать канцелярские документы, и, если вдуматься, оброчный крестьянин, занятый подобным бизнесом, влечит еще более печальную жизнь, чем какой-нибудь Акакий Акакиевич, – социолога распек не только Бенкендорф, но и сам Белинский! Нечего, мол, выдавать правду факта за правду жизни. И вообще – с чего вы взяли, будто человеку в шапке бывает больно существовать?

«Может быть, в Петербурге и найдется один такой водовоз-горемыка, какого описал автор; но в каком же звании не бывает *горемык*? – А между тем никто не скажет, что каждое сословие состоит из одних горемык. Автор описывает водовозов хилыми, хворыми, бледными, больными, искалеченными. Мы, тоже имевшие и имеющие с ними дело, подобно всем петербургским жителям, привыкли видеть в водовозе мужика рослого, плечистого, крепкого, для которого лошадиная тяжесть – нипочем... Не бойтесь за него, видя, что он всегда на воздухе, на холоду, на сырости: оттого-то именно он в 80 лет и будет здоровее, чем вы в восемнадцать... Не приходите в ужас, видя, что он живет в такой конуре, где у вас закружится голова и жестоко оскорбится обоняние: это его вкус, его привычки; дайте ему пожить в ваших великолепных комнатах только три дня – он сделает из них свой подвал... Водовоз много и тяжело трудится: да кто ж мало и легко трудится? Уж, конечно, не я, бедный рецензент...»

Тут не без лукавства: в действительности русская литература давно уже открыла именно сословие горемык – и олицетворила его в Маленьком Человеке. И облила его первыми слезами гуманности: бедный, бедный мой Евгений! низенький чиновник с лысинкою на лбу, со своими проникающими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой»...

Переписывающее существо

Место жительства и род занятий?

– Живет в Коломне, где-то служит...

В смысле – переписывает бумаги. Копирует. Размножает.

То есть тоже трудится, и много – часов шесть в день, а то и восемь.

Государство требует от него чистописания и прилежания, ничего больше, – а взамен наделяет правом носить шляпу, каковой головной убор обозначает обладание личной честью, то есть как бы девиз – не тронь! не смей сказать мне: ты! а тем более – ударить! ни-ни!

В России такая привилегия, пожалуй, дороже самой жизни. Поэтому зарплата к ней прилагается почти символическая – сущие гроши. Конкретные цифры, впрочем, варьируют: Башмачкину платят в год четыреста рублей или около того, Девушкину в «Бедных людях» – что-то такое шестьсот, Мечтателю в «Белых ночах» – тысячу двести, – в общем, на уровне прожиточного минимума.

Конечно, это как посмотреть. Для водоноса это деньги огромные. Но водонос-то ходит зимой в трехрублевом зипуне, а чиновничью шинель меньше чем на восемьдесят не построишь. Положим, зипун или там тулуп гораздо теплей, но в зипуне – какая вам честь? натягивайте тогда уж и шапку и падайте, падайте, куда жутко и взглянуть – обратно в бессмысленную массу; будете, как тот, в изношенном картузе, бедолага, у которого утонула в наводнение невеста:

... ни зверь, ни человек,
Ни то, ни се, ни житель света,
Ни призрак мертвый...

Нет уж! Лучше смерть. Поэтому Маленький Человек – невольник формы.

Собственно, за эти-то муки литература и полюбила его (а он ее – за состраданье к ним): беден, как народ, а притом наделен сознанием – хотя бы сознанием собственной бедности. Выводит, несчастный, следствия из причин: типа того, что и невеста не просто так утонула – Бог дал, Бог взял, – а в результате внешней политики Петра I.

И некуда ему, прозябая в нищете, девать свою грамотность, и пресловутое чувство чести, да и просто – свободное время.

После службы валяется в коммунальной своей конуре – на пятом каком-нибудь этаже – на турецком так называемом диване – клеенчатом, красноватом, в зелененьких цветочках, – и мечтает, представьте себе... о крестовых походах или о дружбе с Гофманом; «об роли поэта, сначала не признанного, а потом увенчанного» и прочий вздор. Собственно говоря, не мечтает, а фантазирует. Сочиняет в уме. Сам себе телевизор.

В хорошую погоду бродит по городу, разговаривает с домами. «Из них у меня есть любимцы, есть короткие приятели; один из них намерен лечиться это лето у архитектора. Нарочно буду заходить каждый день, чтоб не залечили как-нибудь, сохрани его Господи!..»

Всегда одинок, и всегда один; а если как-нибудь случайно и познакомится, предположим, с девушкой, то непременно с падшей, либо, так сказать, падающей, – и ринется спасать и жертвовать собой, – и, разумеется, выйдет конфуз, и много горя от благородства, и в эпилоге – пронзительный аккорд: «Боже мой! Целая минута блаженства! Да разве этого мало хоть бы и на всю жизнь человеческую?..»

А жениться нельзя, никак невозможно: во-первых, не позволяет честь, во-вторых – бюджет, в-третьих – начальство.

И не только при зловещем Николае Палкине, но даже и в эпоху великих реформ, при Александре Освободителе:

«– Слушайте. Директор спрашивает его: «Сколько жалованья получаете?» – «Двенадцать рублей в месяц». – «Приданое большое?» Оказалось, никакого. «У вас есть благоприобретенное, родовое?» – «Нет, ваше превосходительство». – «Так это вы нищих плодить собрались? – закричал директор. – Ни за что не дам свидетельства на женитьбу... Я вас под арест посажу, лишу награды, замараю ваш формуляр. Народите детей, воспитать их не сумеете, все это будут невежды, воры, писаря, каналы! Вы хотите государство обременять!..»

Постскрипtum

Такое странное существо, как Маленький Человек, могло возникнуть не иначе, как из петербургских туманов...

Это был город фасадов, ландшафт для иностранцев – пусть видят: вот, у нас все как у людей, северные Афины, и оштукатурено под мрамор. А за этими фасадами копошилась оргтехника – говорящие, даже пьющие ксероксы в вицмундирах, разные башмачкины и девушкины оповещали пространство империи о благих намерениях властей. Петербург был построен для размножения документов. Переписал десять тысяч бумаг, исходящих и входящих, кончились чернила – спи спокойно, бедняга Башмачкин-Девушкин, на Митрофаньевском каком-нибудь кладбище, пока его не разорят.

После изобретения пишущей машинки Маленький Человек не то что сошел на нет, а как бы растворился в городской толпе, стал жить, как все. Последний раз он явился в литературу даже под женским именем: Софья Петровна в истории про то, как у машинистки издательства был сын, единственный и любимый, восемнадцатилетний, – а в 1937 его посадили в тюрьму (естественно, за терроризм – за намерение убить Великого Вождя). И как она, в точности наподобие Акакия Акакиевича, обивала пороги значительных лиц...

Есть, говорят, где-то под Токсовом огромный полигон для корабельной артиллерии. Необозримый такой пустырь, по которому десятки лет подряд чуть не ежедневно бьют из всех калибров. На пустыре зарыты многие тысячи расстрелянных. И при каждом разрыве снаряда взлетают в воздух человеческие кости.

И там якобы тоже является иногда Маленький Человек: мечется под огнем, выкликая свою невнятную нелепицу. Все те же четыре слога: у-жо-те-бе!